



Альфонс Доде

Тартарен на Альпах



Перевод с французского
Николая Любимова

ФТМ



Тартарен из Тараскона

Альфонс Доде

Тартарен на Альпах

«ФТМ»

1885

Доде А.

Тартарен на Альпах / А. Доде — «ФТМ», 1885 — (Тартарен из Тараскона)

«... Написал Доде вторую часть „Тартарена“ лишь в 1885 году, за несколько летних и осенних месяцев. Работал он над ней главным образом в курортном местечке Ламалу, куда ему приходилось теперь ездить ежегодно. В конце года книга вышла в издательстве Леви, а в 1886 году – в издательстве Фламмариона и имела огромный успех. Любопытно отметить, что описания восхождения были настолько убедительными, что автора приняли за заправского альпиниста: Французский альпийский клуб избрал его своим почетным членом, а знаменитый английский альпинист лорд Вимпер приспал ему свою книгу с автографом....»

Содержание

I	5
II	12
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Альфонс Доде Тартарен на Альпах

I

Появление незнакомца в «Риги-кульм». Кто он? Что говорилось за столом, накрытым на шестьсот персон. Рис и чернослив. Импровизированный бал. Незнакомец расписывается в книге для приезжающих. П.К.А.

Десятого августа 1880 года, в час сказочно прекрасного заката на Альпах, прославленного путеводителями Жоанна и Бедекера, непроницаемый желтый туман и хлопья снега в виде белых спиралей заволакивали вершину Риги (*Regina montium*)¹ и громадный отель, крайне необычно выглядевший среди этих диких горных хребтов: то был знаменитый «Риги-Кульм», сверкающий стеклами окон, словно обсерватория, построенный не менее прочно, чем крепость, – отель, куда на одни сутки толпами стекаются туристы, чтобы полюбоваться восходом и заходом солнца.

В ожидании второго звонка к обеду постояльцы этого необъятного роскошного караул-сарай скучали наверху, в своих номерах, или, пригретые влажным теплом калориферов, развались на диванах в читальном зале, уныло смотрели, как вместо обещанного дивного зрелища в воздухе кружатся белые мухи и как зажигаются у подъезда огромные фонари, поскрипывая на ветру двойными дверцами.

Стоило для этого тащиться такую даль, взбираться на такую крутизну... Эх, Бедекер!..

Вдруг что-то выплыло из тумана и, лязгая железом и производя нелепые телодвижения, вызывавшиеся обилием каких-то необыкновенных приспособлений, направилось к отелю.

Скучающие туристы, все эти английские *мисс*, забавно подстриженные «под мальчика», прильнули к стеклам и, шагах в двадцати различив сквозь метель некую фигуру, приняли ее сперва за отбившуюся от стада корову, потом за обвешанного инструментами лудильщика.

Шагах в десяти фигура вновь изменила обличье: за плечами у нее вырос арбалет, а на голове шлем с опущенным забралом, но чтобы среди горных высей возник средневековый лучник – это показалось еще менее вероятным, чем появление коровы или лудильщика.

Когда же владелец арбалета остановился на крыльце отдыщаться и стряхнуть снег с желтых суконных наколенников, с такой же фуражки и вязаного шлема, из-под которого торчали лишь кольца темной с проседью бороды да огромные зеленые очки, похожие на стереоскоп, то оказалось, что это самый обыкновенный человек, толстый, коренастый, приземистый. Ледоруб, альпеншток, мешок за спиной, связка веревок через плечо, «кошки» и стальные крючья у пояса, стягивавшего английскую куртку с широкими язычками, дополняли снаряжение этого безуокизненного альпиниста.

На пустынных высях Монблана или Финстерааргорна такая оснастка показалась бы естественной, но в «Риги-Кульм», в двух шагах от железной дороги!..

Впрочем, альпинист шел с противоположной стороны, и вид его наколенников свидетельствовал о долгом переходе по снегу и грязи.

¹ Царицу гор (*лат.*).

Недоуменным взглядом окинул он отель и все его пристройки, – по-видимому, он никак не ожидал встретить на высоте двух тысяч метров над уровнем моря столь внушительное здание, семиэтажное, многооконное, со стеклянными галереями, с колоннадами, с широким крыльцом, освещенным двумя рядами фонарей, придававших этой горной вершине сходство с площадью Оперы в зимние сумерки.

Но как ни был удивлен пришелец, а постояльцы отеля были еще больше удивлены, и едва он вошел в просторную прихожую, толпа любопытных повалила туда из всех зал: мужчины с биллиардными киями и развернутыми газетными листами, дамы с книгами или рукодельем; на верхней площадке лестницы тоже показались люди и, перегнувшись через перила, уставились на него.

Пришелец заговорил громоподобным голосом, этаким «южным басиной», звучащим, как цимбалы:

– Разэтакий такой! Ну и погодка!..

Внезапно смолкнув, он снял очки и фуражку.

У него захватило дух.

Слепящие огни, тепло, исходившее от газовых рожков и калориферов, после мрака и холода снаружи, затем эта пышная обстановка: высокие потолки, привратники в галунах и в адмиральских фуражках, на которых золотыми буквами было написано *Regina montium*, белые галстуки метрдотелей, целый батальон сбежавшихся по звонку швейцарок в национальных костюмах, – все это огорчило его, впрочем, только на одну секунду.

Заметив, что все на него смотрят, он приосанился, как артист перед битком набитым зрительным залом.

– Чем могу служить?.. – процедил сквозь зубы шикарный директор в полосатой визитке, с холеными бакенами, завитой на манер дамского портного.

Альпинист, нимало не смущившись, спросил себе номер, «маленький удобный номерок», спросил так непринужденно, будто перед ним стоял не величественный директор, а старый школьный товарищ.

Он даже чуть было не вспылил, когда к нему подошла горничная, уроженка Берна, с подсвечником в руке, в плотно обтягивающем ее золотом корсаже, с пышными тюлевыми рукавами, и спросила, не угодно ли ему подняться на лифте. Он был бы не менее возмущен, если бы ему предложили совершить преступление.

– Чтобы я... чтобы я... на лифте!.. – И от его крика, от его жеста пришли в движение все его доспехи.

Внезапно смягчившись, он сказал швейцарке:

– Нет, я по образу пешего хождения, моя кошечка...

И пошел вслед за ней, глядя в упор на ее широкую спину и всех по дороге расталкивая, меж тем как по отелю пробегала одна и та же скороговорка: «Это еще что такое?» – повторявшаяся на всех языках земного шара. Но тут раздался второй звонок к обеду, и о необыкновенном человеке тотчас же все позабыли.

Столовая в «Риги-Кульм» – зрелище воистину потрясающее.

На шестьсот персон накрыт был огромный, в виде подковы, стол, на котором длинными рядами, вперемежку с живыми растениями, стояли блюда, полные рису и черносливу, и в их светлом и темном отваре отражались неподвижные огоньки люстр и позолота лепного потолка.

Как за всеми швейцарскими табльдотами, рис и чернослив делили здесь обедавших на два враждебных лагеря, и по одному тому, какой взгляд бросали вы заранее на то или иное десертное блюдо, взгляд, исполненный ненависти или вожделения, – можно было сразу определить, к какой партии вы принадлежите. Рисолюбы отличались худобой и бледностью, черносливцы – полнокровием.

В тот вечер черносливцев оказалось, во-первых, больше, а во-вторых, к ним примкнули наиболее важные особы, европейские знаменитости, как, например, выдающийся историк, член Французской академии Астье-Рею, старый австро-венгерский дипломат барон фон Штольц, лорд Чипндейл (?), член Джокей-клуба со своей племянницей (гм! гм!), знаменитый профессор Боннского университета Шванталер и перуанский генерал с восемью дочерьми.

Между тем рисолюбы могли им противопоставить лишь таких светил, как бельгийский сенатор с семейством, супруга профессора Шванталера и возвращавшийся из России итальянский тенор, щеголявший своими запонками величиною с чайное блюдечко. Неловкость и натянутость, которые чувствовались за столом, по всей вероятности вызывались именно тем, что здесь столкнулись два противоположных течения. Иначе как же объяснить, что все эти шестьсот персон, надутые, хмурые, подозрительные, хранили упорное молчание и смотрели друг на друга с величайшим презрением? Поверхностный наблюдатель приписал бы это нелепой англосаксонской чванливости, которая в мире путешественников всюду задает теперь тон.

Нет, нет! Существа, еще не потерявшие образа человеческого, не возненавидят друг друга с первого взгляда, не станут только из-за того, что они незнакомы, задирать нос, кривить рот и смотреть свысока друг на друга. Тут кроется нечто иное.

Я вам уже сказал: рис и чернослив. Вот причина мрачного молчания, повисшего над обеденным столом в «Риги-Кульм», а между тем, принимая во внимание многочисленность разноглавенных гостей, обед мог бы здесь пройти так же шумно и оживленно, как если б он был устроен у подножия Вавилонской башни.

Когда альпинист вошел, вид залитой светом люстр трапезы молчальников привел его в некоторое замешательство; он громко откашлялся, но на него никто не обратил внимания, – тогда он сел с краю стола, в самом конце залы. Без доспехов, это был теперь обыкновенный турист, но в самой внешности этого человека, плешивого, с брюшком, с остроконечной густой бородкой, с величественным носом и добрыми глазами, глядевшими из-под пушистых сердитых ресниц, было что-то особенно привлекательное.

Кто же он: рисолюб или черносливец? Это пока еще представляло загадку.

Только успев сесть, он беспокойно заерзal на стуле, потом испуганно вскочил.

– А чтоб его!.. Сквозняк!.. – воскликнул он и устремился к свободному стулу в середине залы, прислоненному спинкой к столу.

Служанка, родом из кантона Ури, в белом переднике, увешанном серебряными цепочками, остановила его:

– Это место занято, сударь...

Но тут сидевшая рядом девушка, у которой видна была только шапка светлых волос над белоснежной шеей, сказала, не оборачиваясь, с сильным акцентом:

– Нет, оно свободно... Мой брат болен и сегодня не выйдет к столу.

– Болен? Болен? – участливо, почти встревоженно спросил альпинист, садясь за стол. – Надеюсь, не опасно, а?

Он произнес – «э». Эту частицу он вставлял во все свои фразы вместе со словами-паразитами, вроде: «Что, ну что, а ну, а да ну, ух ты, ишь ты, гляньте-ка, э-эх, все-таки», которые еще разче подчеркивали его южное произношение, а юной блондинке оно, по-видимому, не нравилось, потому что она, ничего ему не ответив, окинула его ледяным взглядом бездонно глубоких темно-синих глаз.

Сосед справа тоже не очень к себе располагал; это был итальянский тенор, ражий детина с низким лбом, масляными глазками и воинственными усами, которые он начал сердито покручивать, как только его разъединили с хорошенкой соседкой. Но добрый наш альпинист любил поговорить за едой, он считал, что это полезно для здоровья.

– Ишь ты! Какие красивые запонки!.. – вслух заговорил он сам с собой, посматривая на манжеты итальянца. – На яшме вырезаны ноты – *прррэлэстно!*..

Его голос, в котором слышался металл, рокотал в полной тишине и не будил ни малейшего отзыва.

– Вы, наверно, певец? *Чтэ?*

– *Non capisco...²* – пробурчал себе под нос итальянец.

Альпинист с сокрушенным сердцем начал есть молча, но куски застревали у него в горле. Наконец, как только сидевший против него австро-венгерский дипломат потянулся дрожащей от старости сухонькой ручкой, которую обтягивала митенка, к горчичнице, он предупредительно подвинул ее.

– Пожалуйста, барон...

Он слышал, что все именно так обращались к дипломату. Но вот горе: бедный фон Штольц, несмотря на то, что он производил впечатление человека хитроумного, искушенного в дипломатических тонкостях, давным-давно растерял все слова и мысли и теперь путешествовал в горах для того, чтобы вновь обрести их. Он поднял свой безжизненный взор, остановил его на незнакомом лице, затем молча опустил. Нужно было, по крайней мере, десять старых дипломатов с такими же умственными способностями, как у него, чтобы совместными усилиями составить формулу самой обыкновенной благодарности.

При этой новой неудаче лицо альпиниста приняло свирепое выражение, и по той стремительности, с какой он схватил бутылку, можно было подумать, что он сейчас запустит ею в старого дипломата и проломит ему немудрую голову. Ничуть не бывало! Он просто-напросто решил предложить вина своей соседке, но она была поглощена беседой вполголоса с двумя молодыми людьми, сидевшими рядом с ней, поглощена приятным для слуха, оживленным щебетом на каком-то непонятном языке и не слыхала, что он к ней обратился. Она беспрестанно наклонялась к своим собеседникам. Над ее маленьkim прозрачным розовым ушком блестели при свете люстр завитки светлых волос... Кто она: полька, русская, норвежка?.. Во всяком случае, северянка. Тут южанин невольно вспомнил песенку своего родного края и преспокойно стал ее напевать:

Севера звезда, графиня!
Вижу я: вас нынче вновь
Серебром осыпал иней,
Чистым золотом – Любовь.

Все обернулись: уж не сошел ли он с ума? Южанин покраснел и молча уткнулся в свою тарелку, но потом все же встрепенулся – только для того, чтобы оттолкнуть поданное ему сладкое блюдо.

– Опять чернослив!.. Да ни за что на свете!

Это было уже слишком.

Все задвигали стульями. Академик, лорд Чипндэйл (?), боннский профессор и другие важные персоны из партии черносливиев встали и в знак протesta покинули зал.

Рисолюбы почти тотчас же последовали за ними, так как и другие десертные блюда были отвергнуты альпинистом не менее решительно.

Ни рис, ни чернослив!.. Но тогда что же?..

Все направились к выходу, и было что-то леденящее в этом молчаливом шествии поднятых носов и надменно поджатых губ мимо несчастного альпиниста, – подавленный всеобщим презрением, он остался один в огромной, ярко освещенной зале как раз в ту минуту, когда, накрошив хлеба, он собирался приготовить себе блюдо, которое так любят на юге!

² Не понимаю (*итал.*).

Друзья мои, не презирайте никого! Презрение – это козырь в руках высокочек, позеров, уродов и глупцов, личина, за которой прячется ничтожество, а иногда и низость, и которая прикрывает отсутствие ума, собственного мнения и доброты. Все горбуны исполнены презрения, все курносые морщат и задирают свой нос при виде носа прямого.

Добрый альпинист это знал. Ему было уже за сорок, он уже переступил через «роковой сороковой», он находился в той поре, когда человек подбирает и находит волшебный ключ, отмыкающий потайные двери жизни, за которыми открывается однообразная обманчивая анфилада; он отлично знал цену жизни, сознавал всю важность своего назначения, понимал, к чему обязывает его громкое имя, а потому его нимало не беспокоило, что о нем думают эти господа. Ведь ему стоит только назвать себя, крикнуть: «Это я!..» – и все эти надменно выпяченные нижние губы тотчас расплываются в почтительной улыбке. Но инкогнито его забавляло.

Он страдал лишь оттого, что не мог разговаривать, шуметь, откровенничать, отводить душу, пожимать руки, фамильярно похлопывать по плечу, называть собеседников уменьшающими именами. Вот что угнетало его в «Риги-Кульм».

Особенно он страдал оттого, что не мог разговаривать!

«Этак и типун на языке вскочит...» – рассуждал сам с собой бедняга, слоняясь по отелю и не зная, чем заняться.

Он зашел в кафе, обширное и пустое, как собор в будни, подозвал официанта, назвал его «мой милый друг» и заказал «кофе, но только без сахара. Чтэ?». И хотя официант не спросил его: «А почему без сахара?» – альпинист поспешил добавить: «Эта привычка осталась у меня от того времени, когда я охотился в Алжире».

Ему не терпелось рассказать о своей замечательной охоте, но официант, неслышно, как привидение, ступая в своих мягких туфлях, полетел к лорду Чипндейлу, – тот, развались на диване, каркал: «Чимпэнского!.. Чимпэнского!» Выстрелила пробка, а затем в наступившей тишине было слышно лишь, как воет ветер в трубе монументального камина да прерывисто шуршит снег, ударяясь о стекла окон.

Читальный зал тоже наводил тоску: у всех в руках газеты, сотни голов склонились под рефлекторами над длинными зелеными столами. Время от времени слышится зевок, покашливание, шелест переворачиваемых листов, и, возвышаясь над тишиной этой классной комнаты, спиной к печке стоят неподвижно два жреца официальной истории, Шванталер и Астье-Рею, оба величественные, оба одинаково пропахшие плесенью, по прихоти судьбы встретившиеся на вершине Риги после того, как они тридцать лет подряд ругательски ругали друг друга и в объяснительных записках выражались не иначе, как «Круглый дурак Шванталер... *Vir ineptissimus*³ Астье-Рею...»

Можно себе представить, какой прием оказали они общительному альпинисту, когда он подсел к ним потолковать у огонька и понабраться от них ума-разума! От этих кариатид на него тотчас повеяло холодом, а он этого так не любил! Он встал и зашагал по залу – не только для того, чтобы замять неловкость, но и для того, чтобы согреться, – затем открыл библиотечный шкаф. Там валялось несколько английских романов вперемежку с толстыми Библиями и разрозненными томами «Записок Швейцарского клуба альпинистов». Он достал одну книгу и хотел было взять ее с собой, почитать перед сном, но вынужден был водворить на место, так как уносить книги из читального зала в номера не разрешалось.

Он опять начал бродить и наконец приотворил двери биллиардной, – там гонял шары итальянский тенор, играя торсом и манжетами, чтобы привлечь внимание своей хорошенкой соседки по табльдоту, сидевшей на диване между двумя молодыми людьми и читавшей им какое-то письмо. При появлении альпиниста она прервала чтение, а один из молодых людей,

³ Болван (лат.).

тот, что был выше ростом, поднялся с места, – это был настоящий мужепес с волосатыми ручищами, с грязными черными патлами и нечесаной бородой. Он сделал два шага навстречу вошедшему и посмотрел на него вызывающим и до того свирепым взглядом, что добрый альпинист, не потребовав никаких объяснений, благоразумно и с достоинством сделал пол-оборота направо.

– Неприветливый все-таки народ эти северяне!.. – сказал он громко и, чтобы показать дикарю, что он его не боится, хлопнул дверью.

Последним прибежищем оставался салон. Альпинист туда вошел – ах, пропади он пропадом, этот салон!.. Ну и мрачно же было там, если бы вы только знали! Мрачно, как в Сен-Бернардском монастыре, где монахи выставляют напоказ замерзших, которых они выкопали из-под снега, – выставляют в самых разнообразных положениях, в каких те закоченели. Вот что такое салон в «Риги-Кульм».

Дамы, все до одной застывшие, молчаливые, сидели группами на диванах, расставленных вдоль стен, некоторые поодиночке раскинулись в креслах. Мисс, все до одной, сидели, точно скованные холодом, за круглыми столиками, у ламп, и держали в руках кто альбом, кто журнал, кто вышиванье. Среди них находились генеральские дочки – восемь маленьких перуанок, бросавшихся в глаза шафранным цветом лица, подвижностью черт и тем контрастом, какой составляли их яркие ленты с серо-зелеными тонами английских платьев, эти бедные «жарко-странки», которых так легко было себе представить гrimасничающими, прыгающими по верхушкам кокосовых пальм и которые еще в большей степени, чем другие жертвы, вызывали чувство жалости своей вынужденной немотой и закоченелостью. А в глубине салона, у фортепиано, виднелся зловещий силуэт старого дипломата – его маленькие безжизненные руки в митенках лежали на клавиатуре, бросавшей на его лицо желтоватый от свет...

Силы и память изменили бедному фон Штольцу, и он безнадежно запутался в польке собственного сочинения: он проигрывал несколько тактов, но, забыв коду, всякий раз начинал сызнова и в конце концов, играя, уснул, а за ним, потряхивая причудливо взбитыми локонами или чепцами, отделанными кружевом, похожим на корочку от слоеного пирога, – чепцами, которые так любят англичанки и которые в мире путешественников являются признаком хорошего тона, – стали погружаться в сон и все дамы.

Появление альпиниста не пробудило их, и он сам, проникшись всей этой леденящей душу атмосферой уныния, рухнул на диван, но тут вдруг в прихожей весело и громко заиграла музыка: три бродячих музыканта, из тех, что обходят все швейцарские отели, из тех, что носят длинные, до колен, сюртуки и у которых такие жалобные лица, явились с арфой, флейтой и скрипкой в «Риги-Кульм».

При первых же звуках музыки альпинист так и подпрыгнул.

– Ух ты! Браво!.. Музыку сюда!

И скорей бежать, скорей все двери настежь, скорей угощать музыкантов, поить их шампанским, и сам он при этом хмелеет, но не от вина, а от музыки. Он подражает флейте, подражает арфе, прищелкивает у себя над головой пальцами, вращает глазами, приплясывает, к великолючию изумлению туристов, со всех концов сбежавшихся на шум. И вдруг наш альпинист, завидев в дверях жену профессора Шванталера, уроженку Вены, толстушку с такими задорными глазками, что, несмотря на сплошь седые волосы, она кажется гораздо моложе своих лет, загоревшись при звуках вальса Штрауса, которые раззадоренные музыканты играют с чисто цыганским осторвенением, подбегает к ней, обнимает за талию и увлекает, крича остальным: «Что же вы? Что же вы?.. Танцуйте!»

Толчок дан – и вот уже все оттаяли, все закружились и понеслись. Танцуют в прихожей, в салоне, вокруг длинного зеленого стола в читальном зале. А ведь это он их так расшевелил, вот молодчина! Сам он, однако, больше не танцует – прошелся несколько туров и запыхался. Но он распоряжается балом, подгоняет музыкантов, подбирает пары, бросает боннского профес-

сопа в объятия к какой-то старой англичанке, на чопорного Астье-Рею напускает самую резвую из перуанок. Сопротивляться бесполезно. От этого ужасного альпиниста исходят какие-то токи, от которых вы срываетесь с места, от которых у вас вдруг становится легко на душе. И – ух ты, ух ты! Презрения, ненависти как не бывало. Нет больше ни рисолюбов, ни черносливцев – вальсируют все. Безумие распространяется, охватывает все этажи, и в широком пролете лестницы видно, как на площадке седьмого этажа кружатся, будто заводные куклы, служанки-швейцарки в своих тяжелых пестрых юбках.

И пусть на дворе бушует ветер, раскачиваются фонари, гудит телеграфная проволока, пусть крутятся снежные вихри на пустынной вершине. Здесь уютно, тепло, и на всю ночь хватит и тепла и уюта.

«Пойду-ка я все-таки спать...» – говорит себе добрый альпинист, ибо он человек благоразумный, ибо он из того края, где быстро воспламеняются, но еще быстрее гаснут. Посмеиваясь в свою седоватую бороду, он пробирается, он крадется так, чтобы ускользнуть от фрау Шванталер, которая после тура вальса всюду ищет его, вцепляется в него, все хочет «плясирен... танцирен...».

Он берет ключ, подсвечник и на площадке второго этажа останавливается на минутку, чтобы полюбоваться делом рук своих, взглянуть на этих сидней, которых он заставил веселиться, которых он растормошил.

Тяжело дыша после прерванного вальса, к нему подбегает швейцарка и протягивает ему вместе с пером книгу для приезжающих:

– Будьте любезны, сударь, распишитесь...

Он колеблется. Стоит или не стоит сохранять инкогнито?

А впрочем, какое это имеет значение? Если даже весть о его прибытии и разнесется по отелю, все равно никто не догадается, зачем он приехал в Швейцарию. А зато любопытно будет посмотреть завтра утром, как вытянутся физиономии у всех этих «инглишменов», когда они узнают... Девчонка наверняка проболтается... То-то все удивятся, то-то все будут ошеломлены!..

– Как? Это он?.. Он!..

Мысли эти мелькнули у него в голове, стремительные, скользящие, как удары смычка. Он взял перо и небрежно рукою под именами Астье-Рею, Шванталера и других знаменитостей поставил имя, которое должно было затмить все предыдущие, – то есть свое имя. Затем он поднялся к себе в номер, даже не полюбовавшись тем впечатлением, какое он произвел на служанку, – так он был уверен в эффекте.

Швейцарка заглянула и прочла:

ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА

А под этим:

П. К. А.

Уроженка Берна, прочтя это, совсем не была ошеломлена.

Она понятия не имела, что означают буквы: П.К.А. Она ничего не слыхала о «Дарданене».

Э-эх, дикарка!

II

Тараскон – поезд стоит пять минут! Клуб альпинцев. Что такое П. К. А. Кролики садковые и кролики капустные. «Вот мое завещание». Мертвецкий сироп. Первый подъем. Тартарен вынимает очки

Когда название «Тараскон» звучит, как фанфара, в поезде Париж – Лион – Средиземное море под чистым, струящимся провансальским небом, головы любопытных пассажиров выглядывают из всех окон экспресса, и от вагона к вагону идет перекличка:

– А вот и Тараскон!.. Посмотрим, каков Тараскон!

А между тем ничего особенного в нем как будто и нет: мирный, чистенький городок, башни, кровли, мост через Рону. Места эти славятся и привлекают к себе беглый взор пассажиров, во-первых, тарасконским солнцем, чудотворством миража, порождающего столько неожиданностей, столько вымыслов, столько забавных нелепостей, а во-вторых, этим маленьким жизнерадостным народцем ростом с чечевичное зернышко, отражающим и воплощающим в себе инстинкты всего французского юга, народом живым, подвижным, болтливым, взбалмошным, потешным, впечатлительным.

Летописец Тараскона на достопамятных страницах своей истории (назвать ее точнее ему не позволяет скромность) некогда попытался нарисовать картину счастливых дней маленького городка, жители которого посещали Клуб, распевали романсы, причем у каждого из них был свой любимый романс, и за неимением дичи устраивали любопытную охоту за фуражками. Потом вспыхнула война, и для Тараскона тоже настало грозное время, время его героической обороны: эспланаду заминировали, к Клубу и к Театральному кафе немыслимо было пробраться, жители, все как один, вступили в вольные дружины, нацепили нашивки в виде скрещенных костей и черепа, все как один отрастили бороды и сверху донизу увешались секирами, палашами и американскими револьверами, – бедняги боялись близко подойти друг к другу на улице.

Много лет прошло с тех пор, много календарей было брошено в печь, но Тараскон ничего не забыл: отказавшись от прежних пустых развлечений, он думал теперь только о том, как бы развить в себе силу и ловкость для будущего реванша. Стрелковые и гимнастические общества, у каждого из которых была своя форма, свое снаряжение, свой оркестр и свое знамя, фехтование, бокс, бег, борьба, в которой принимали участие даже лица из высшего круга, вытеснили охоту за фуражками и платонические охотничьи беседы у оружейника Костекальда.

Наконец, Клуб, тот самый старый Клуб, отказавшись от буйотты и безика, превратился в Клуб альпинцев по образцу знаменитого лондонского Эльпайн-клуба, слава которого гремит даже в Индии. Различие между этими двумя клубами заключается в следующем: тарасконцы, вместо того чтобы, покинув родимый край, стремиться достигнуть чужеземных высот, довольствуются тем, что у них под рукой или, вернее, под ногой, за чертой города.

Альпы в Тарасконе?.. Альп, правда, нет, но зато есть Альпины: эта цепочка горок, благоухающих тмином и лавандой, не слишком круtyх и не очень высоких (всего 150 – 200 метров над уровнем моря), голубыми волнами застилает горизонт перед глазами путников, странствующих по дорогам Прованса, и каждую такую горку фантазия местных жителей постаралась украсить баснословным и в то же время выразительным названием: Страшная гора, Край света, Пик великанов и т. д.

Любо смотреть, как в воскресное утро тарасконцы, все до одного в гетрах, опираясь на альпенштоки, с мешками и палатками за плечами, с горнистами впереди, отправляются

совершать подъем, о котором, не щадя красок и употребляя самые сильные выражения, вроде «наводящие ужас обрывы, пропасти, теснини», как будто речь идет о восхождении на Гималаи, даст потом отчет местная газета «Форум». Понятно, что благодаря подобным забавам местные жители значительно окрепли и у них появились двойные мускулы, которые прежде составляли преимущество одного лишь Тартарена, доброго, неустранимого, героического Тартарена.

Если Тараксон – олицетворение юга, то Тартарен – олицетворение Тараксона. Он не только первый его гражданин, он его душа, его гений, он воплощение всех его сумасбродств. Всем известны его былые подвиги, его певческие триумфы (о незабываемый дуэт из «Роберта Дьявола» в аптеке у Безюке!) и потрясающая одиссея его охоты на львов в Алжире, откуда он вывез великолепного верблюда, последнего алжирского верблюда, который впоследствии изнемог под бременем лет и почестей и чей остов доныне покоятся в городском музее среди прочих тараксонских достопримечательностей.

Зато сам Тартарен отлично сохранился: все такие же у него прекрасные зубы, все такой же меткий глаз, несмотря на то, что ему перевалило за сорок, и прежнее пылкое воображение, приближающее и увеличивающее предметы не хуже любого телескопа. О нем и сейчас бравый командир Бравида с полным основанием мог бы сказать: «Он у нас молодец...»

Молодец-то молодец, да только на свой особый образец. В Тартарене, как во всяком тараксонце, уживаются две ярко выраженные породы – кролика садкового и кролика капустного. Кролик садковый – непоседа, смельчак, сорвиголова, кролик капустный – домосед, любит лечиться и безумно боится переутомления, сквозняка и всевозможных случайностей, которые могут оказаться роковыми.

Общеизвестно, что благоразумие не мешало Тартарену в случае необходимости действовать храбро, даже героически. Позволительно, однако, задать себе вопрос: что же он собирался делать на Риги (на *Regina montium*) в таком возрасте и после того, как он столь дорогою ценой приобрел право на отдых и благородство?

На этот вопрос мог бы ответить один лишь вероломный Костекальд.

Костекальд, по роду своих занятий оружейник, представляет собою тип, довольно редкий в Тараксоне. Зависть, низкая, черная зависть, залегающая в злобной складке его тонких губ и чем-то вроде клубов желтого пара исходящая из его печени, закапчивает его широкое тщательно выбритое, с правильными чертами лицо сплошь в каких-то вмятинах, точно от ударов молотка, напоминающее изображение Тиберия или Каракаллы на старинных медалях. Зависть – это у него своего рода болезнь, и он даже не пытается ее скрыть; со свойственным ему бурным тараксонским темпераментом он сплошь да рядом не выдерживает и так говорит о своем недуге:

– Вы себе не представляете, как это мучительно...

Виновником Костекальдовых мучений был, разумеется, Тартарен. Столько почестей одному человеку! Везде и всюду он! И Костекальд вот уже двадцать лет медленно, незаметно, подобно древоточцу, забравшемуся в золоченого идола, подтачивает изнутри его громкую славу, долбит ее, подрывает. Когда вечерами в Клубе Тартарен рассказывал о своей охоте на львов, о скитаниях по необозримой Сахаре, Костекальд беззвучно посмеивался и недоверчиво покачивал головой.

– Ну, а как же шкуры, Костекальд?.. Ведь он же прислал нам львиные шкуры, и они висят в клубной зале!..

– Ах, ах, ах!.. А вы думаете, в Алжире мало скорняков?

– А следы пули, эти круглые дыры в головах?..

– Ну и что? Разве во времена охоты за фуражками неопытные стрелки не покупали у наших шапочников простреленные дробью дырявые фуражки?

Разумеется, эти подвохи бессильны были поколебать славу Тартарена – истребителя хищных зверей, но в качестве альпиниста он был далеко не так неуязвим, и Костекальд этим поль-

зовался и метал громы и молнии по поводу того, что председателем Клуба альпинцев избран человек, с годами явно «отяжелевший», да к тому же привыкший в Алжире к мягким туфлям и просторной одежде, еще больше располагающей к лени!

В самом деле, Тартарен редко принимал участие в восхождении на горы; он предпочитал наблюдать альпинцев, а потом, на торжественных заседаниях, вращая глазами и с такими интонациями, от которых бледнели дамы, читать потрясающие отчеты об экспедиции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.